

ПОЛЬ РИКЁР

Вызов и счастье перевода¹

Позвольте мне выразить благодарность дирекции штуттгартского фонда DVA² за приглашение, давшее мне возможность в свою очередь и по-своему поучаствовать во вручении франко-немецкой Переводческой премии 1996 года. Вы согласились на то, что мои замечания будут названы «Вызов и счастье перевода».

На самом деле, я хотел бы поместить свои замечания относительно значительных трудностей и маленьких радостей перевода под эгиду формулы «Испытание чуждостью»³, — это название, которое безвременно покинувший нас Антуан Берман дал своему замечательному труду «Культура и перевод в романтической Германии».

Прежде всего, и на протяжении большей части своего доклада, я буду говорить о трудностях, связанных с переводом, который видится мне сложным, порой даже неразрешимым пари. Эти трудности точно описываются термином «испытание» в обоих его значениях: и как «перенесенные страдания», и как «проверка». Испытание замыслом, желанием или даже стремлением: стремлением переводить.

Чтобы разъяснить суть этого испытания, я предполагаю сравнить между собой два смысла «задачи переводчика», о которой говорит Вальтер Беньямин, в связи с двойным толкованием, которое Фрейд дает слову «работа», говоря в одном из очерков о «работе воспоминания», а в другом — о «работе траура». В переводе также происходит и некоторое спасание, и некоторое принятие утраты.

Спасание — чего? Утрата — чего? Этот вопрос возникает в связи с термином «чужое» в названии книги Бермана. На деле, в акте перевода вступают во взаимоотношения два партнера: чужое как термин,

¹ Речь, произнесенная в Немецком институте истории 15 апреля 1997 года. Перевод выполнен по тексту: *Ricoeur P. Sur la traduction*. Paris: Bayard, 2004. P. 7–20.

² Deutsches Verlaganstalt. Это одновременно и филиал фонда Bosch, и издательство. — *Прим. автора.*

³ *Berman A. L'épreuve de l'étranger*. Paris: Gallimard, 1995.

обозначающий произведение, автора, язык, — и читатель, адресат переведенного произведения. А между ними — переводчик, который передает, переносит сообщение целиком из одного идиома в другой. В неудобстве этого посреднического положения и состоит вышеупомянутое испытание. Франц Розенцвейг выразил это испытание в виде парадокса. Переводить, по его словам, означает служить двум господам: чужому и его произведению, читателю и его желанию присвоить, притом что автор — чужой, а читатель живет в рамках того же языка, что и переводчик. На деле этот парадокс выявляет ни на что не похожую проблематику, обусловленную одновременно и желанием верности, и подозрением в предательстве. Шлейермахер, о котором сегодня вечером будет говорить один из наших лауреатов, разделял этот парадокс на две фразы: «привести читателя к автору», «привести автора к читателю».

Именно в этом обмене, в этом хиазме и заключен эквивалент того, что мы выше назвали работой воспоминания, работой траура. Сначала — работа воспоминания: эта работа, которую можно сравнить также с родами, направлена на два полюса перевода. С одной стороны, она обращена на сакрализацию языка, на так называемый родной, материнский, язык, на некую скованность, которую он задает в самоидентификации.

Такое сопротивление со стороны читателя не следует недооценивать. Претензия на самодостаточность вкупе с отказом от опосредования чуждым втайне породили множество лингвистических этноцентризмов и, что хуже, множество претензий на культурную гегемонию вроде той, что была характерна для латыни, начиная с поздней античности и до конца Средних веков, если не до конца эпохи Возрождения, или же для французского в период классицизма, или, наконец, для англо-американского в наши дни. Я использовал заимствованный из психоанализа термин «сопротивление», чтобы описать этот скрытый отказ принимающего языка от испытания чуждостью.

Но сопротивление работе перевода, эквивалентной работе воспоминаний, ничуть не меньше и со стороны языка чужого. Переводчик сталкивается с этим сопротивлением на различных этапах своей деятельности. Он сталкивается с ним еще до того, как начинает переводить — под видом презумпции непереводимости, внушающей ему страх еще до того, как он обращается к произведению. Все разыгрывается, все происходит так, как будто бы в самой исходной эмоции, в накаляющемся порой страхе начать, чужой текст предстает в виде инертной массы, сопротивляющейся переводу. С одной стороны, эта первоначальная презумпция — не более чем фантазм, подпитываемый банальным признанием того, что оригинал не будет повторен в другом оригинале; признание, которое я называю банальным, так как оно сходно с признанием всякого коллекционера перед лицом лучшей из копий произведения искусства. Коллекционер видит ее основной недостаток: копия не оригинал. Но фантазм безупречного перевода приходит на смену баналь-

ной мечте о повторении оригинала. Его высшая точка — боязнь, что перевод в своем качестве перевода станет лишь плохим переводом, по определению, так сказать.

Но сопротивление переводу принимает менее фантазматическую форму, как только начинается работа перевода. Непереводимые участки усеивают текст, превращая перевод в драму, а желание хорошего перевода — в пари. В этом отношении перевод поэтических текстов являл собой излюбленное упражнение целой плеяды поэтов и мыслителей, в особенности в период немецкого романтизма: Гердер и Гёте, Шиллер и Новалис, чуть позже фон Гумбольдт и Шлейермахер, и уже ближе к нашим дням Бенъямин и Розенцвейг.

На деле поэзия представляла собой основную трудность, являясь неразделимым единством смысла и звучания, означаемого и означающего. Но перевод философских трудов, который сегодня занимает нас в большей мере, выявляет трудности другого рода, в некотором смысле столь же непреодолимые, на уровне выделения семантических полей, не полностью совпадающих в разных языках. И наибольшие трудности возникают с основными словами, *Grundwörter*, которые переводчик порой ошибочно стремится перевести дословно, используя фиксированные эквиваленты из принимающего языка. Но у этих законных ограничений есть свои пределы, в той мере, в какой такие знаменитые ключевые слова, как *Vorstellung*, *Aufhebung*, *Dasein*, *Ereignis*, сами представляют собой сжатые варианты длительной текстуальности, вбирающей в себя целые контексты, не говоря уже о явлениях интертекстуальности, скрытых в самом отпечатке, облике слова. Речь об интертекстуальности, подразумевающей порой повторение, репризу, трансформацию, отказ от прежних словоупотреблений со стороны авторов, относящихся к одной или противоположным философским традициям.

Дело не только в том, что не совпадают семантические поля, но и в том, что синтаксические конструкции не эквивалентны, а обороты речи выражают различные культурные наследия; что уж говорить о полунемых коннотациях, обременяющих даже наиболее четко очерченные денотаты языка оригинала и плавающих где-то между знаками, фразами, более или менее длинными речевыми периодами. Именно этой комплексной неоднородности чужой текст и обязан своим сопротивлением переводу и, в данном смысле, своей спорадической непереводимостью.

Парадокс перевода обнажается в случае с философскими текстами, оснащенными строгой семантикой. Так, логик Куайн, работая в рамках англоязычной аналитической философии, говорит о формальной невозможности идеи соответствия двух текстов, не обладающих адекватностью. Дилемма состоит в следующем: оба текста, начальный и конечный, в рамках стремления к хорошему переводу должны быть оценены с помощью третьего, несуществующего текста. Проблема состоит в том, чтобы сказать — или попытаться сказать — одно и то же двумя

разными способами. Но это «одно и то же», эта тождественность нигде не дана именно в виде третьего текста, чей статус совпадал бы со статусом третьего человека в платоновском «Пармениде», — именно третьего, располагающегося между идеей человека и человеческими образцами, которые должны быть задействованы в истинной и реальной идее. При отсутствии этого третьего текста, в котором был бы заключен сам смысл, семантическая тождественность, можно сослаться лишь на критическое прочтение неких специалистов, полиглотов или, по меньшей мере, билингов, поскольку такое прочтение будет эквивалентно перепереводу третьего лица, посредством которого наш компетентный читатель сам заново совершает работу по переводу, в свою очередь проходя испытание переводом и сталкиваясь с тем же парадоксом эквивалентности без адекватности.

Здесь я отмечу в скобках, что, говоря о повторном переводе, перепереводе, осуществляемом читателем, я подхожу к более общей проблематике бесконечных перепереводов великих классических произведений мировой культуры: Библии, Шекспира, Данте, Сервантеса, Мольера. Возможно, следует даже сказать, что именно в перепереводе наиболее заметно стремление переводить, подпитываемое неудовлетворенностью существующими переводами. На этом я закрою скобки.

Мы следили за переводчиком с момента, когда страх удерживает его от того, чтобы начать переводить, и в ходе его борьбы с текстом во время работы над переводом; мы оставляем его в состоянии неудовлетворенности, в которое его повергает окончанный перевод.

Антуан Берман, труды которого я внимательно перечитал по этому случаю, в удачной формулировке представляет два вида сопротивления: сопротивление переводимого текста и сопротивление языка, принимающего перевод. Цитирую: «В психическом отношении переводчик амбивалентен. Он хочет взять силой сразу с двух сторон: он насилует свой язык, обременяя его чуждостью, и насилует другой язык, депортируя его в свой родной язык».

Таким образом, наше сравнение с работой воспоминания, о которой говорил Фрейд, нашло себе соответствие в работе перевода, подразумевающей завоевание и войну на два фронта против двуединого сопротивления. И именно на этом уровне драматизации работа траура находит себе соответствие в переводоведении, привнося в него свой горький, но ценный вклад, или компенсацию. Я представляю его одним словом: отказ от идеала совершенного перевода. Только такой отказ, или зарок, позволяет сжиться, в виде принятой неполноценности, с вышеупомянутой невозможностью служить двум господам — автору и читателю. Этот траур позволяет также смириться с двумя противоречащими, казалось бы, друг другу задачами — «привести автора к читателю» и «привести читателя к автору». Набраться смелости смириться с пресловутой проблематикой верности и измены: зарок / подозрение. Но о каком таком совершенном переводе идет речь в этом зароке, в этой ра-

боте траура? Лаку-Лабарт и Жан-Люк Нанси дали вариант ответа, приемлемый для немецких романтиков, в своей книге под названием «Литературный абсолют».

Этот абсолют управляет операцией приближения, имеющей различные именованья: «регенерация» принимающего языка у Гёте, «потенциализация» исходного языка у Новалиса, конвергенция двойного процесса *Bildung*, работающего повсеместно у фон Гумбольдта.

Грёза эта не была всецело обманчивой, поскольку это она вскормила двуединое притязание — пролить свет на скрытый лик исходного языка произведения, подлежащего переводу, и — взаимнообразно — депроvincialизовать родной язык, призванный помыслить себя равным среди прочих языков или даже, в самом крайнем случае, воспринять себя в виде языка иностранного. Но этот зарок не пытаться совершенного перевода принимал и иные формы. Я назову лишь две: во-первых, космополитическое направление в русле *Aufklärung*, мечта о создании тотальной библиотеки, которая в итоге собирания стала бы универсальной *Книгой*, до бесконечности разветвленной сетью переводов всех произведений на все языки, выливающейся в формы своего рода всемирной библиотеки, где нет места никаким непереводам. Согласно этой мечте, являющейся также мечтой о рациональности, начисто лишённой культурных или коммунарных ограничений, эта грёза всепереводимости насытит пространство межъязыковой коммуникации и восполнит отсутствие универсального языка. Другое направление совершенного перевода воплотилось в мессианском ожидании, в которое на речевом уровне вдохнул новую жизнь Вальтер Беньямин в своем потрясающем тексте «Задача переводчика». Здесь цель в чистом, как его называет Беньямин, языке, который заключает в себе, как свое мессианское отражение, или эхо, всякий перевод.

Во всех этих конфигурациях мечта о совершенном переводе равноценна желанию некоего выигрыша для перевода, такого выигрыша, в котором нет места проигрышу, потере или утрате. Именно по этому выигрышу без потерь и следует носить траур вплоть до того момента, когда мы сживемся с неодолимостью различия между своим, собственным, и чужим. Обретенная универсальность, движимая ненавистью к провинциальности родного языка, грозит избавить нас от памяти о чужом и, возможно, даже от любви к собственному языку. Подобная универсальность, всевосприимчивость, стирающая свою собственную историю, грозит превратить всех и каждого в чужих самим себе, в таких апатридов от языка, в изгнанников, уже не ищущих убежища в принимающем языке. Короче говоря, в блуждающих номадов.

В этом трауре по абсолюту и состоит счастье перевода. Счастье перевода оборачивается выигрышем, если перевод, связанный с потерей языкового абсолюта, смиряется с несовпадением между адекватностью и эквивалентностью, с эквивалентностью без адекватности. В этом его счастье. Признавая и принимая несводимость к общему знаменателю

пары свое — чужое, переводчик обретает свое вознаграждение в признании непреодолимости диалогического статуса акта перевода, воспринимая его в виде головного горизонта для своего желания перевести. Несмотря на агонистический характер, драматизирующий задачу переводчика, последний может обрести свое счастье в том, что мне хотелось бы назвать *языковым гостеприимством*.

Таким образом, режим перевода и его формула — это соответствие без адекватности. Хрупкое условие возможности, не терпящее иной формы верификации, кроме переперевода, о которой я упоминал выше в виде своего рода упражнения по дублированию посредством минимального билингвизма работы переводчика: заново перевести вслед за переводчиком. Я отталкивался в своем рассуждении от двух моделей, так или иначе связанных с психоанализом, работы памяти и работы траура, правда, лишь для того, чтобы сказать, что переводить, равно как и рассказывать, можно иначе, не питая надежды заполнить пропасть между эквивалентностью и полной адекватностью. Речь, стало быть, о языковом гостеприимстве, в рамках которого удовольствие погостить в языке другого, компенсируется удовольствием принять у себя, в своих собственных покоях, речь чужестранца.

Перевод с французского Марины Бендет